

## ЗАМЕТКА О СТИХОТВОРЕНИЯХ Ф. И. ТЮТЧЕВА, ПРИСЛАННЫХ ИЗ ГЕРМАНИИ

Светлана Киршбаум (Регенсбург)

В 1836 г. в пушкинском журнале «Современник» были напечатаны 24 стихотворения Ф.И. Тютчева (за подписью *Ф. Т.*)<sup>1</sup>, снабженные пометкой «Стихотворения, присланные из Германии». «Немецкость» подборки усиливалась указанием места жительства автора — Мюнхен<sup>2</sup>. Подавляющее большинство опубликованных стихотворений относится к так называемой «поэзии мысли», или же к тому, что впоследствии стало называться «философской лирикой» Тютчева.

Публикацию в «Современнике» принято считать поворотным событием в творчестве Тютчева. Возобладал взгляд на публикацию через призму отношения Пушкина к Тютчеву, с 1920-х гг. ставший объектом научной дискуссии, которая сводилась к столкновению «двух подходов — литературно-философского, восходящего к символистской критике, и научного (литературоведческого), выработывавшегося перед революцией в Пушкинском семинаре С.А. Венгерова» (Осват 1990: 60).

Как уже отмечал Ю.Н. Тынянов в статье «Пушкин и Тютчев» (1926), в третьем же томе «Современника», где были напечатаны 16 (!) стихотворений Тютчева, Пушкин опубликовал свою заметку «Письмо к издателю». В ней он сетовал на отсутствие в России поэтической продукции и укорял русских поэтов в бездействии. Из недавних событий русской поэтической жизни Пушкин отметил появление третьего издания стихов Державина, новое издание басен Крылова, отметил он и новых поэтов: Кукольника, Бенедиктова, Кольцова (Пушкин 1978: 330–331, см. также: Тынянов 1969: 179). Напрашивается вопрос, так или иначе ставившийся в тютчеведении, является ли тютчевская подборка доказательством, иллюстрацией бездействия русской поэзии или же, характеризуя философские стихи Тютчева как «немецкие» и эксплицитно локализуя его в Германии, Пушкин<sup>3</sup> исключает Тютчева из русской литературы и подчеркивает его «чуждость»?

---

<sup>1</sup> «Современник», Т. 3, 1836, 16 стих.: «Утро в горах», «Весенние воды», «Снежные горы», «Цицерон», «Фонтан», «Поддень», «Я помню время золотое...», «Как океан объемлет шар земной...», «Душа хотела б быть звездой...», «Как над горячею золой...», «Silentium!», «Яркий снег сиял в долине...», «О чем ты воешь, ветр ночной...», «Поток сгустился и тускнеет...», «Сон на море...», «Не то, что мните вы, природа...». «Современник», Т. 4, 1836, 8 стих.: «В душном воздухе молчанья...», «Что ты клонишь над водами...», «Вечер мгlistый и ненастный...», «И гроб опущен уж в могилу...», «Восток белел... ладья катилась...», «Как птичка, раннею зарей...», «Двум сестрам...», «Душа моя – Элизиум теней...» Тютчевские стихотворения в «Современнике» печатались и после смерти Пушкина.

<sup>2</sup> В 1822 г. Тютчев, получивший место при русской дипломатической миссии, уехал в Мюнхен, где с некоторыми перерывами он прожил до 1844 г. В 1836 г. по просьбе И.С. Гагарина, некоторое время служившего вместе с ним, Тютчев пересылает в Петербург пакет со своими стихами. Гагарин передает стихи Тютчева П.А. Вяземскому и В.А. Жуковскому, а те в свою очередь знакомят с ними А.С. Пушкина, после чего следует публикация в «Современнике».

<sup>3</sup> За неимением других сведений приходится обращаться к версии о том, что название подборки дано или, по меньшей мере, одобрено самим Пушкиным. По мнению Р.Г. Лейбова, исключаящего причастность Тютчева к названию подборки (Лейбов 2000: 125), название могло быть дано П.А. Вяземским или В.А. Жуковским, принимавшими участие в публикации (Лейбов 2000: 121). Как кажется, нельзя все же исключать и И.С. Гагарина, который претендовал на роль большую, чем роль инициатора, в частности, прося разрешения у Тютчева быть его издателем. Гагарин произвел и первичную сортировку стихотворений, Вяземскому он передал «некоторые стихотворения», «старательно» им «разобранные» (ср. письмо Гагарина Тютчеву от 12/24 июня 1836 г., цит. по: Динесман 1999: 159). В этой связи интересно и то, что Гагарин, по всей вероятности, не был знаком с

Для Тынянова, пытавшегося деконструировать миф о публикации тютчевской подборки в «Современнике» как о «передаче лиры», это был знак некоего небрежного отношения Пушкина к Тютчеву-поэту, или, по крайней мере, отношения, которое не стоит преувеличивать и наделять сакральным смыслом<sup>4</sup>: «Тютчевские стихи не входили в круг поэзии, к которому Пушкин присматривался, на которую он возлагал надежды в поступательном ходе литературы» (Тынянов 1969: 179). Н.В. Королева, несколько позже, в 1960-е гг., оспаривая выводы Тынянова, отрицала «враждебность» и «двух направлений в поэзии — пушкинского и тютчевского», и «двух поэтов — Пушкина и Тютчева», однако все же соглашалась, что «безусловно существует <...> разница их направлений и творческих индивидуальностей», коренящаяся «прежде всего в разнице мировоззрений двух поэтов, в разнице их представлений о поэтическом, их литературных вкусов и, наконец, их литературного воспитания» (Королева 1962: 207), что, по сути, и означает то же самое, что «враждебность» и «двух направлений в поэзии — пушкинского и тютчевского», и «двух поэтов — Пушкина и Тютчева», только выраженная в более мягкой форме. В исследовательской литературе уже не раз было прокомментировано высказывание Пушкина о статье И.В. Киреевского «Обзорение русской словесности 1829 года» в альманахе «Денница»: «Из молодых поэтов немецкой школы г. Киреевский упоминает о Шевыреве, Хомякове и Тютчеве. Истинный талант двух первых неоспорим» (Денница 1830; Пушкин 1978: 76).

Если для Тынянова это означает, что Пушкин ставит под сомнение поэтический талант Тютчева (Тынянов 1969: 177), то Н.В. Королева в данной связи подчеркивала прежде всего «факт личного незнакомства поэтов, в то время как Шевырев и Хомяков были в эти годы ближайшими сотрудниками Пушкина по журналу “Московский вестник” и по литературной борьбе с лагерем Булгарина–Греча. Творчество их было известно Пушкину гораздо шире, чем тютчевское, и не только по печатным источникам» (Королева 1962: 207). Личное незнакомство поэтов, по мнению исследовательницы, впоследствии компенсировалось тем, что Пушкин получил тетрадь со стихами Тютчева, «раскрывшую перед ним душу незнакомого поэта» (Королева 1962: 207), и таким образом сам факт публикации становился актом признания. А.Л. Осповат убедительно показал, что Пушкину было очень хорошо известно имя Тютчева еще до отъезда последнего в Германию: «уже в 1821 г. в сознании Пушкина укрепилось имя московского поэта [Тютчева. — С.К.], дебютировавшего в роли его оппонента» (Осповат 1990: 72), именно тогда и «обозначились контуры противостояния» Пушкина и Тютчева (Осповат 1990: 73)<sup>5</sup>.

Е.А. Маймин также не соглашался с Тыняновым, хотя и считал, что «Тютчев-поэт в равной мере и похож на Пушкина, и отличается от него <...> многими чертами своей внешней поэтики» (Маймин 1976: 183). Там, где Тютчев расходится с Пушкиным, он, по мнению Маймина, напоминает Веневитинова, Хомякова и

---

текстами Тютчева до того, как получил их в Петербурге, хотя очень интенсивно общался с поэтом в Мюнхене: «на каждой странице мне живо припомнились вы и ваша душа, которую, бывало, мы вдвоем столь часто и столь тщательно разбирали» (письмо Гагарина Тютчеву от 12/24 июня 1836 г., цит. по Динесман 1999: 159). Вероятно, о том, что Тютчев пишет стихи, Гагарин узнал уже в Петербурге.

<sup>4</sup> Миф о признании Пушкиным Тютчева создавался, по мнению Тынянова, последующими поколениями, для которых Пушкин уже был некоторой неоспоримой единицей измерения — «Пушкин в веках»: «Литературную динамику Пушкина каждое поколение по-своему проецирует на свою собственную плоскость, “оценивает” и “переоценивает” ее. Пушкин при этом схематизируется, замыкается ореолом оценки, он становится внушительной, но сглаженной “величиной”, при этом “величиной”, современной оценщикам» (Тынянов 1969: 166).

<sup>5</sup> Причиной этого противостояния было стихотворение Тютчева 1820 года «К оде Пушкина на Вольность» (см.: Осповат 1990: 66–71).

Шевырева (Маймин 1976: 183), что не противоречит концепции Тынянова, находившего у Тютчева черты Державина, Ломоносова, Жуковского, Пушкина, Ознобишина, Шевырева, Хомякова и т.д. (по сути, он очерчивал круг возможного чтения Тютчева). Г.И. Чулков считал, что Тынянов однобоко воспринял отношения Тютчева и Пушкина, сводя необоснованное, с его точки зрения, антагонистическое отношение Пушкина к тютчевским стихам исключительно к вопросу об эволюции литературных жанров. Р.Г. Лейбов, оспаривая тезис Тынянова о том, что стихи Тютчева были помещены в «Современнике» за неимением лучшего материала, все же придерживается мнения о жанровой чуждости тютчевской подборки как главной причине непризнания Тютчева русским читателем (Лейбов 2000).

По поводу заглавия подборки высказывались различные соображения. Например, Чулков, для которого «вопрос о Тютчеве» в связи с «вопросом о Пушкине» осложнялся «вопросом о Гете», объяснял «несколько странное» заглавие желанием Пушкина подчеркнуть свой интерес к той культуре, «которую условно можно назвать гетевской» (Чулков 1933: 265–266), тем самым вводя в спор дополнительную литературную величину и еще больше запутывая ситуацию (от подобного субъективного изображения литературного процесса последующими поколениями, по сути, и предостерегал Тынянов).

Заглавие подборки представляется нам все же не совсем «странным». Схожая стратегия прослеживается, хоть и отдаленно, в сборнике, вышедшем почти за десять лет до «Современника». В «Северной лире на 1827 год», альманахе С.Е. Раича и Д.П. Ознобишина, было напечатано семь стихотворений Тютчева, шесть как отдельные публикации и одно — в рамках статьи Ознобишина «Отрывок из сочинения об искусствах». Пять из семи стихотворений — переводы, причем напечатанные за полной подписью *Ф. Тютчев*: это «Песнь радости (Из Шиллера)», «Слезы» («Люблю, друзья, ласкать очами...»), «С чужой стороны», «Саконтала (Из Гете)» и «В альбом друзьям (Из Л. Байрона)». Три из них снабжены пометкой «Мюнхен»: «Песнь радости», «Слезы», «С чужой стороны»; возможно, при «Саконтала» и «В альбом друзьям» Мюнхен не был указан по недосмотру. Собственно тютчевское стихотворение «К Н...» («Твой милый взор, невинной страсти полной...») подписано инициалом *Т.*, что соответствует позиции Тютчева как «поэта-дилетанта» (авторство стихотворения «Нет веры к вымыслам чудесным...», процитированного Ознобишиным, было раскрыто, вероятнее всего, по инициативе последнего). Таким образом, пометка «стихотворения, присланные из Германии» имеет пусть не столь явный, но все же прецедент, хотя в обоих случаях она исполняет, как видится, примерно одинаковую функцию — подчеркнуть некую удаленность автора от русского литературного процесса. Р.Г. Лейбов приводит мнение А.Л. Осповата, что заглавие в «Современнике» могло быть связано со стихотворением «С чужой стороны», напечатанным в «Северной лире» и являющимся переводом из Гейне. Поскольку стихотворение не было помечено как перевод, оно могло восприниматься как выражение позиции самого Тютчева (Лейбов 2000: 123–124). Видимо, полная подпись Тютчева под стихотворением и указание места написания могли бы по аналогии с предыдущими стихотворениями указывать на то, что оно переводное (по сути это не противоречит приведенному выше замечанию).

Наиболее продуктивным нам представляется усмотреть в высказывании Пушкина отсылку к так называемой «немецкой школе» русской поэзии, причем в московском ее варианте. Именно в контексте этой школы Пушкину было знакомо имя Тютчева. «Немецкость» этой школы как ее участники, так и посторонние наблюдатели отчасти связывали с рецепцией и адаптацией на русской поэтической почве натурфилософских идей Шеллинга (мюнхенца). По мнению К.Ю. Рогова, общество Любомудров, которое принято было считать «отправной точкой» истории «московского

романтизма» (Рогов 1997: 523), было во многом обязано кружку Раича, где в 1821 г. читали сочинения йенских романтиков (Рогов 1997: 533). Вслед за йенскими романтиками Любомудры работали над поэтической программой, ориентированной на объединение поэзии с философией и риторикой (ср. 116-й фрагмент Ф. Шлегеля из журнала «Атенеум»). Шеллингианские идеи и интересы Любомудров также формируются в кружке Раича (Рогов 1997: 535). Раич был домашним учителем Тютчева, во многом сформировавшим его поэтический вкус. Таким образом, еще до своего отъезда в Германию в 1822 г. Тютчев имел тесные контакты с будущими членами «Общества Любомудрия» и отправился в Германию, уже будучи более или менее «немецко-московским романтиком»<sup>6</sup>. Получается, что будущее сходство Тютчева с Любомудрами было заранее запрограммировано.

Хотя, конечно, чтобы признать «историческую обусловленность и закономерность» Тютчева как поэтического явления (Маймин 1976: 145), нельзя обойти тот факт, что Тютчев развивался как поэт в Германии, вдали от русского литературного процесса<sup>7</sup>, несмотря на свое интенсивное общение с Шевыревым, братьями Киреевскими, Рожалиным и Мельгуновым в Мюнхене. На удаленность Тютчева от русской литературной жизни указывал и Раич, напечатавший в 1829 г. в первом номере своего нового журнала «Галатей» статью «Письмо к другу за границу», обращенную, по всей вероятности, к Тютчеву (возможно, что в заглавии тютчевской подборки в «Современнике» слышны отголоски и названия этой статьи): «...Что происходит, или лучше сказать, происходит ли *что* в литературной России?» — спрашиваешь ты меня в одном из твоих писем <...> О русской литературе, и вообще о ходе просвещения в России, ты имеешь, как видно, понятие довольно темное, неопределенное. И немудрено: более шести лет протекло с того времени, как ты разлучился с отечеством; немудрено и потому, что ты о произведениях словесности нашей судишь по переводам некоторых русских книг на иностранный язык. «На днях, — это твои слова, — на днях попался мне перевод книги Б<улгари>на; я читал ее с чувством, похожим на умиление. Младенческое изображение младенческого общества! Странное дело! Россия как государство — гигант, как общество — младенец. Но этот младенец, верю и надеюсь, должен возмужать, и девятая часть поверхности земного

---

<sup>6</sup> Вполне возможно, что будущее славянофильство Тютчева также было предопределено его московским происхождением и было той призмой, через которую, по всей вероятности, воспринимались идеи немецкого романтизма. Интересно своеобразное «московское» восприятие Мюнхена П.В. Киреевским, восторженным почитателем Шеллинга. В письме к матери он сообщает, что хотя Мюнхен — город «весь немного побольше нашей Мясницкой», «однако он довольно красив и был бы прекрасен, если бы не лежал на огромной равнине, совершенно плоской, покрытой по большей части болотами и полузасохшим кустарником. Улицы здесь не такие узкие и закопченные как в других Немецких городах; дома по большей части новые и выстроенные очень красиво; довольно много зелени, и из всех Немецких городов мною виденных Мюнхен на Москву самый похожий» (Киреевский 1905: 115; см. также: Тынянов 1977: 353). Кроме равнины и болотистой местности (определения, которые, кстати сказать, могли бы относиться и к Петербургу) у Мюнхена, как и у других немецких городов есть, по мнению Киреевского, еще один существенный изъян: «Очень много красоты отнимает у здешних городов недостаток колоколен и златоверхих церквей, которые так много украшают наши» (Киреевский 1905: 116).

<sup>7</sup> Н.И. Греч дает такое определение тютчевской подборке, скорее всего, навеянное встречей с Тютчевым в Мюнхене у русского посланника Д.П. Северина: «У Дмитрия Петровича <Северина> <...> виделся <...> я с русским поэтом, бывшим секретарем посольства (ныне переведенным в Турин) Ф.И. Тютчевым, который не видав отечества лет пятнадцать, под чуждым небом, писал прекрасные стихи: они печатались в «Современнике»» (Н.И. Греч. Путевые письма из Англии, Германии и Франции. Ч. 3. СПб., 1839: 97; цит. по: Динесман 1999: 178).

шара займет подобную в области ума человеческого» (цит. по: Динесман 1999: 84). Первый номер нового журнала мог привлечь всеобщее внимание, и таким образом за Тютчевым могла закрепиться репутация человека, не просто не участвующего в русском литературном процессе и не имеющего о нем никакого понятия, но и человека, над этим процессом иронизирующего.

В своей в целом благожелательной рецензии на альманах Раича «Северная лира» П.А. Вяземский, подробно останавливаясь на статье и стихах Раича, лишь в самом конце обзора «мимоходом, суммарно и неопределенно полупохвалил» Тютчева (Тынянов 1969: 173), ничем не выделяя его среди прочих поэтов «немецкой школы»: «Читатели найдут еще в “Сев. Лире” произведения гг. Шевырева, Титова, Веневитинова, Тютчева, кн. Одоевского и некоторых других; все они более или менее отличаются, или игривостью мыслей, или теплотою чувств, или живостью выражения» (Вяземский 1984: 230). Для любителей, стремящихся как раз к синтезу мыслей, чувств и выражения в одном произведении, такая беглая оценка Вяземского не могла быть приемлема, особенно на фоне упреков сочинений «немецкой школы» в неясности. Обвинения в неясности Вяземский адресовал русской литературе в целом: «Вообще вся наша литература мало имеет в себе положительного, ясного, есть что-то неосязательное, облачное в ее атмосфере», однако москвичей — Вяземский склонялся к обозначению «московская школа» — отличала, по его мнению, особенная «туманность»: «В московском климате есть что-то и туманное. Пары зыбкого идеологизма носятся в океане беспредельности» («Северная Лира на 1827 год», Вяземский 1984: 223). «Туманность», т.е. неясность становится эквивалентом философичности поэзии. Поиски любителей не казались Вяземскому, как, по всей вероятности, и Пушкину, перспективными: «Впрочем, из этих туманов может еще проглянуть ясное утро и от них останутся одни яркие блески на свежей зелени цветов» (Вяземский 1984: 223).

От переизбытка «туманности» в современной поэзии еще раньше предостерегал В.К. Кюхельбекер, подобно Вяземскому, в своей статье «О направлении нашей поэзии, особенно лирической, в последнее десятилетие» (1824) полемически отказывавший всей русской литературе в ясности<sup>8</sup>. «Картины везде одни и те же <...> в особенности же — туман: туманы над водами, туманы над бором, туманы над полями, туман в голове сочинителя» (Кюхельбекер 1979: 457). Причину этой расплывчатости Кюхельбекер видел в подражательности русской поэзии и требовал создания национальной русской литературы. При чем сбросить «немецкие цепи», в которые русскую словесность пытался заковать Жуковский, Кюхельбекер предлагал именно Пушкину (Кюхельбекер 1979: 458), что Пушкин, собственно, и сделал, литературно-полемически убив геттингенского «туманного мечтателя» Ленского. По иронии судьбы сам Кюхельбекер был нечаянно причислен любителем И.В. Киреевским к «немецкой школе». В своем «Обзрении русской словесности 1829 года» Киреевский упоминает об «Ижорском», «сочинении неизвестного», дух которого показался ему «преимущественно немецким» в силу редкого соединения в русской литературе «глубокости чувства с игривостью воображения» (Киреевский 1998: 68). Все же «игривости воображения» оказалось, скорее всего, недостаточно, и «неизвестный» автор «Ижорского» явно проигрывал самому блестящему, по мнению Киреевского, представителю «немецкой школы» Д.В. Веневитинову, у которого «созвучие ума и сердца было отличительным характером его духа» и «самая фантазия его была более музыкаю мыслей и чувств, нежели игрою воображения» (Киреевский 1998: 68).

---

<sup>8</sup> Ср. Кюхельбекер 1979: 456: «У нас все мечта и призрак, все мнится, и кажется, и чудится, все только будто бы, как бы, нечто, что-то».

Сами любомудры считали своим предтечей Жуковского, от него они вели свою генеалогию, но от него же и отталкивались. И.В. Киреевский так писал в своем «Обзрении...»: Жуковским была развита «лучшая сторона нашего бытия, сторона идеальная, мечтательная, та, которую не жизнь дает нам, но мы придаем нашей жизни» и которую «преимущественно развивает поэзия немецкая» (Киреевский 1998: 59). Но все же поэзия Жуковского, которая бывает иногда «задумчивой» (Киреевский 1998: 67), это не поэзия мысли. А в 1820–30-е гг. от поэзии требовали именно мысли: «Нам *необходима* философия: все развитие нашего ума требует ее. Ею одною живет и дышит наша поэзия» («Обзрение...»; Киреевский 1998: 69). Решением этой задачи и занимались москвичи, штудирующие немецкую трансцендентальную философию. Не имея оснований напрямую причислить Вяземского, Баратынского и Пушкина к «немецкой школе», Киреевский пытается продемонстрировать приближенность их к тем же идеям, которые были близки любомудрам: «Следуя преимущественно направлению французскому, он <Вяземский. — С.К.> умеет острые стрелы насмешки закалять в оригинальных мыслях и согреть чувством всегда умную, всегда счастливую, блестящую *игру ума*. Но и князь Вяземский <...> еще выше там, где, как в “Унынии”, голос сердца слышнее ума» («Обзрение...»; Киреевский 1998: 71), Баратынский и Пушкин, «начав свое развитие мнениями французскими, довершили его направлением европейским, сохранив французского одну dokonченность внешней отделки» (Там же). Под «европейским направлением» Киреевский подразумевал, скорее всего, то, что он позже сформулировал в статье «Девятнадцатый век» (1832): «В литературе результатом сего направления <европеизма. — С.К.> было стремление согласовать воображение с действительностью, правильность форм со свободой содержания, округленность искусственности с глубиной естественности — одним словом, то, что напрасно называют *классицизмом*, с тем, что еще не правильнее называют *романтизмом*» (Там же).

Игнорировать запрос философичности в поэзии Пушкин не мог. В наброске 1824 г. «О причинах, замедливших ход нашей словесности» он писал: «Просвещение века требует важных предметов размышления для пищи умов, которые уже не могут довольствоваться блестящими играми воображения и гармонии» (Пушкин 1978: 14). Много позже в полемической статье «Мнение М.Е. Лобанова о духе словесности, как иностранной, так и отечественной» (1836) Пушкин, как бы подводя итоги полемики 1820–30-х гг., признавал плодотворность философских поисков любомудров: «Умствования великих европейских мыслителей не были тщетны и для нас. Теория наук освободилась от эмпиризма, возымела вид более общий, оказала более стремления к единству. Германская философия, особенно в Москве, нашла много молодых, пылких, добросовестных последователей, и хотя говорили они языком мало понятным для непосвященных, но тем не менее их влияние было благотворно и час от часу становится более ощутительно» (Пушкин 1978: 278). Ответ Лобанову напечатан в том же третьем томе «Современника», что и первый блок тютчевских стихотворений. Можно было бы вполне усмотреть в тютчевской подборке иллюстрацию «благотворного влияния» любомудров. В этом случае заглавие «Стихотворения, присланные из Германии», видимо, и указывало бы на идейную принадлежность автора к «немецкой школе». Надо полагать, что говоря о «благотворном влиянии любомудров» Пушкин имел в виду, скорее всего, общее развитие идей в России, а не литературу как таковую. Шевырев еще в 1830 г. выразил суть полемики любомудров с Пушкиным: «Вменяешь в грех ты мне мой темный стих,/ Прозрачных мне не надобно твоих» («<Пушкину>», цит. по: Топоров 1997: 226). Поэтологическую разницу между Пушкиным и любомудрами подробно исследовал Е.А. Маймин: любомудры мыслили

универсальными понятиями, Пушкин пытался описать конкретное явление (Маймин 1969). Пушкин высоко ценил стихи и критику Любомудров, но они казались ему иногда слишком «систематичными».

Таким образом, в концепт «немецкости» Пушкин и другие скептики «немецкого» вкладывали, с одной стороны, «туманность», «неясность», с другой стороны, «систематичность» и зависимость поэтической мысли поэта-философа от философской доктрины. Философичность, немецкость, туманность уводила от главной задачи — русская поэзия 1820-х годов озабочена созданием своей, национальной русской литературы и ожиданием некоего нового Гения. «Туманной немецкой» поэзии Пушкин противопоставляет поэзию ясную и оригинальную, при этом оригинальность становится и задачей русской литературы, и залогом ее рождения: «У нас еще нет ни словесности, ни книг, все наши знания, все наши понятия с младенчества почерпнули мы в книгах иностранных, мы привыкли мыслить на чужом <французском. — С.К.> языке» («О причинах...»; Пушкин 1978: 14). И.В. Киреевский, мечтавший о появлении собственной русской философии, все же склонялся к тому, что первый шаг к ней «должен быть присвоением умственных богатств той страны <Германии. — С.К.>, которая в умозрении опередила все другие народы» («Обозрение русской словесности 1829 года»; Киреевский 1998: 70). Вяземский хоть и не признавал поэтического перевода, по всей вероятности, считал прозаический перевод с какого бы то ни было языка полезным: «Переводы в стихах приятны и льстят более суетности переводчиков, но могущество стихотворства так сильно, что забывая о подлиннике, мы судим перевод, как оригинальное творение: переводы в прозе полезнее, более действуют на язык, на который переводят, более пускают идей, образов в обращение и всегда совершеннее знакомят и сближают литературы и языки» («Северная лира...», Вяземский 1984: 226). Тютчев, напечатанный в «Северной лире» пять переводных стихотворений, не мог, конечно, считаться заметным явлением в русской литературе, особенно для Пушкина, уверенного, например, что «Жуковского перевели бы все языки, если б он сам менее переводил» («О причинах...»; Пушкин 1987: 15). В объявлении о выходе «Северной лиры», напечатанном в «Московском вестнике» (1827, № 2, 138–139) — печатном органе Любомудров, издававшемся М.П. Погодиным — читатели могли ознакомиться с содержанием альманаха: Тютчев фигурирует как автор пяти переводов, против автора стихотворения «К Н...» поставлен прочерк.

В связи с вопросом о самостоятельности русской литературы показательным пушкинское высказывание о Баратынском, которого он высоко ценил: «Он у нас оригинален, ибо мыслит. Он был бы оригинален и везде, ибо мыслит по-своему, правильно и независимо, между тем как чувствует сильно и глубоко» («Баратынский», 1830; Пушкин 1978: 153). Другим оригинальным поэтом для Пушкина был Федор Глинка, про которого он в рецензии на издание поэмы последнего «Карелия, или Заточение Марфы Иоанновны Романовой» (1830) написал следующее: «Из всех наших поэтов Ф.Н. Глинка, может быть, самый оригинальный. Он не исповедует ни древнего, ни французского классицизма, он не следует ни готическому, ни новейшему романтизму; слог его не напоминает ни величавой плавности Ломоносова, ни яркой и неровной живописи Державина, ни гармонической точности, отличительной черты школы, основанной Жуковским и Батюшковым» (Пушкин 1978: 84). За самобытность Пушкин был готов простить Глинке даже «небрежность рифм и слога», не смущала его ни «какая-то вялость», ни «однообразие мыслей», поскольку все это компенсировалось «энергической пылкостью», «поэтическим добродушием», «теплотой чувств» и «свежестью живописи». Хочется заметить, что все это критерии, которые трудно было бы применить к поэтике Тютчева. Рецензируя сборник Виктора Теплякова «Фракийские элегии» (1836), Пушкин приветствует самобытный талант, «гармонию,

лирическое движение, истину чувств» поэта (Пушкин 1978: 288) и осуждает «стихи слишком небрежные»: *«Тишина гробницы, громкая как дальний шум колесницы; стон, звучащий как плач души; слова, которые святее ропота волн... все это не точно, фальшиво или просто ничего не значит»* (Пушкин 1978: 289). Это замечание Пушкина как раз в какой-то мере могло бы относиться и к Тютчеву. Квинтэссенцией пушкинского требования ясности можно считать его заметку «Путешествие В. Л. П.» (1836) о шуточном стихотворении И.И. Дмитриева: «Виноват: я бы отдал все, что было писано у нас в подражание лорду Байрону, за следующие незадумчивые и невесторженные стихи <...>: Друзья! сестрицы! Я в Париже!/ Я начал жить, а не дышать! etc.» (Там же: 297). Оригинальным писателем Пушкин считал Вяземского<sup>9</sup>.

В данной связи встает вопрос: как же Пушкин и его ближайшие современники не смогли заметить «оригинальности» поэтической мысли Тютчева, ставшего в последующей рецепции именно «поэтом мысли»? Почему после публикации в «Современнике» Тютчев не стал восприниматься как оригинальный поэт-мыслитель, и его открытие было отложено вплоть до начала 1850-х годов? По предположению Тынянова, стихи Тютчева затерялись в общем потоке дилетантской и эпигонской литературы 30-х гг. Созданный Тютчевым новый жанр — «жанр почти внелитературного отрывка, фрагмента, стихотворения по поводу» — ощущался как «внелитературный признак, как признак дилетантизма», и поэтому, по мнению Тынянова, «резче всего бросалось в глаза то, что было у Тютчева общим с эпигонами: предельное разложение формы — в малую. Для Пушкина-мастера тонкий дилетантизм Тютчева был сомнительным явлением» (Тынянов 1969: 185, см. также: Лейбов 2000: 123). Тынянов отмечал одну особенность стихов Тютчева — их литературность, он называл ее «отраженностью». Схожего мнения придерживался и Эйхенбаум: «Сгущенный, патетический лиризм Тютчева, часто принимающий формы ораторской речи, выглядел на фоне тускневшего Пушкинского стиха как нечто полновесное, содержательное» (Эйхенбаум 1922: 89) и не совпадал с требованием «просторечия» Пушкина. «Одическая» риторичность Тютчева оказывалась совершенно противоположна классицистской риторичности Пушкина: «И недаром утвердилось тогда суждение, что стихи Тютчева написаны небрежно, что они не отделаны (так казалось, очевидно, на фоне Пушкинской техники). Символисты показали нам всю изошренность его стиха и истолковали Тютчева как своего предтечу, как “родоначальника поэзии намеков” (Брюсов). Этот стилизованный Тютчев послужил для символистов орудием защиты против консервативно-настроенной критики, повторявшей заветы Белинского и отсылавшей к “классикам”» (Эйхенбаум 1922: 89–90). Пушкин, которого в Глинке привлекало именно неукорененность его ни в одной литературной традиции, мог, конечно, и не воспринять Тютчева, писавшего «стихи по поводу стихов», как оригинального поэта. Сложно с достоверностью утверждать, что Пушкин мог счесть Тютчева эпигоном Ознобишина, Шевырева, Хомякова, Глинки (о «тютчевских» интонациях у Глинки писал Тынянов) или же Вяземского (ср. исследование Д.Д. Благого «Тютчев и Вяземский»), но читал он его все же на их фоне. Схожесть мотивов, образов, метафор могла заслонить собой различия. В этой связи интересно, например, высказывание Кюхельбекера, считавшего русскую поэзию однообразной: «Прочитав любую элегию Жуковского, Пушкина или Баратынского,

<sup>9</sup> О критических статьях Вяземского Пушкин писал следующее: «Критические статьи кн. Вяземского носят на себе отпечаток ума тонкого, наблюдательного, оригинального. Часто не соглашаешься с его мыслями, но они заставляют мыслить. Даже там, где его мнения явно противоречат нами принятым понятиям, он невольно увлекает необыкновенною силою рассуждения (discussion) и ловкостью самого софизма» («О статьях кн. Вяземского», 1830; Пушкин 1978: 90).



знаешь все» («О направлении нашей поэзии...»; Кюхельбекер 1979: 456). Для М.Л. Гаспарова «это было, конечно, преувеличение. Самое большое, что можно было сказать, это — прочитав одну элегию Жуковского, читатель мог уже представлять себе все элегии Жуковского и т.д. Но спутать элегию одного поэта с элегией другого поэта можно разве что у мелких эпигонов» (Гаспаров 1997: 362). Как кажется, преувеличение Кюхельбекера как раз и обнажает тот феномен, на который указывает Тынянов, говоря о возможном восприятии Тютчева на фоне дилетантско-эпигонской поэзии, когда решающую роль в оценке играет именно сходство, а не различие. Следующее поколение издателей «Современника» (Н.А. Некрасов, И.С. Тургенев) указывает уже на сходство Тютчева и Пушкина, т.е. их стихи звучали для них одинаково.

«Литературность» и «отраженность» (в сегодняшней терминологии — интертекстуальность) тютчевских стихов накладываются на его полемичность, превращающую тексты Тютчева в маленькие риторические упражнения. Самый яркий пример тютчевской полемичности обнаруживается при сопоставлении стихотворения Шевырева «Стансы» (1826): «Когда безмолвствуешь, природа,/ И дремлет шумный твой язык:/ Тогда душе моей свобода,/ Я слышу в ней призывный клик», и стихотворения Тютчева «Не то, что мните вы, природа...» (1836), напечатанного в «Современнике»: «Не то, что мните вы, природа:/ Не слепок, не бездушный лик — / В ней есть душа, в ней есть свобода,/ В ней есть любовь, в ней есть язык...». Яркость тематических, лексических и метрических совпадений делает полемичность тютчевского текста на первый взгляд незаметной: для Шевырева «освобождение души» приходит ночью, когда природа спит, Тютчев же призывает искать «душевную свободу», именно прислушиваясь к природе.

Второй пример — стихотворение Хомякова «Желание» (1827): «Хотел бы я разлиться в мире,/ Хотел бы с солнцем в небе течь,/ Звездою, в сумрачном эфире,/ Ночной светильник свой зажечь», и стихотворение Тютчева «Душа хотела б быть звездой...» (1830): «Душа хотела б быть звездой,/ Но не тогда, как с неба полночи/ Сии светила, как живые очи,/ Глядят на сонный мир земной». Если Хомяков хотел гореть в «сумрачном эфире», то есть ночью, то Тютчев — в дневном, «эфире чистом и незримом». Если Хомяков, «зажигая свой светильник», освещает, условно говоря, весь мир, то Тютчеву важно остаться невидимым и за этим миром наблюдать (что сочетается, конечно, с декларировавшейся Тютчевым собственной непубличностью, не раз отмеченной исследователями). При яркости совпадений тонкая риторичность и полемичность Тютчева могли ускользать от внимания современников. Стихотворения могли восприниматься как подражательные. Кризис поэзии, философской и нефилософской, в 1830-е годы усилился, поэзия ушла на периферию литературного процесса. Пушкин погрузился в прозу и историзм, а бывшие любомудры — в славянофильскую культурософию. И лишь через 20 лет, когда вновь возникла потребность в поэзии, умной, уже обогащенной опытом философствования 1830–40-х годов, когда русская литература забыла о поэтологических пересудах 1820-х и 1830-х годов, а Пушкин стал пусть и драгоценным, но прошлым русской литературы, она востребовала и услышала «немца» Тютчева. Именно его философическая отстраненность и универсализм оказались нужны новому читателю.

ЛИТЕРАТУРА

- Вяземский П.А. Сочинения: В 2 т. Т. 2. Литературно-критические статьи. М., 1982.
- Вяземский П.А. Северная лира на 1827 год // Северная лира на 1827 год. М., 1984. С. 223–230.
- Гаспаров М.Л. Три типа русской романтической элегии // Он же. Избранные труды. Т. 2. М., 1997.
- Динесман Т.Г. Летопись жизни и творчества Ф. И. Тютчева. Кн. 1. М., 1999.
- Киреевский И.В. Критика и эстетика. М., 1998.
- Киреевский П.В. Письма // Русский архив. 1905. № 5. С. 113–173.
- Королева Н.В. Тютчев и Пушкин // Пушкин: Исследования и материалы. Т. 4. М.; Л., 1962. С. 183–207.
- Кюхельбекер В.К. Путешествие. Дневник. Статьи. Л., 1979.
- Лейбов Р.Г. «Стихотворения, присланные из Германии» в Пушкинском «Современнике» как факт рецепции тютчевского жанра // *Studia Russica Helsingiensia et Tartuensia*. Вып. VII: Переломные периоды в русской литературе и культуре. Helsinki, 2000. С. 121–130.
- Маймин Е.А. Русская философская поэзия: Поэты-любомудры; А.С. Пушкин; Ф.И. Тютчев. М., 1976.
- Маймин Е.А. Философская поэзия Пушкина и любомудров (К различию художественных методов) // Пушкин: Исследования и материалы. Т. 6. Л., 1969. С. 98–117.
- Осповат А.Л. Тютчев и Пушкин: история литературных отношений // Тыняновский сборник. Вып. 4. Рига, 1990. С. 60–76.
- Пушкин А.С. Полн. собр. соч.: В 10 т. Т. VII. Л., 1978.
- Рогов К.Ю. К истории «московского романтизма»: кружок и общество С.Е. Раича // Лотмановский сборник. 2. М., 1997. С. 523–576.
- Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977.
- Тынянов Ю.Н. Пушкин и Тютчев // Пушкин и его современники. М., 1969.
- Чулков Г. «Стихотворения, присланные из Германии» (К вопросу об отношении Пушкина к Тютчеву) // Звенья. Т. 2. М.–Л., 1933. С. 255–267.
- Эйхенбаум Б. Мелодика русского лирического стиха. Пб., 1922.